

**Гайто
ГАЗДАНОВ**



ГАЙТО ГАЗДАНОВ

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ПЯТИ ТОМАХ**

Том четвертый

**РОМАНЫ
ВЫСТУПЛЕНИЯ НА РАДИО «СВОБОДА»
ПРОЗА, НЕ ОПУБЛИКОВАННАЯ ПРИ ЖИЗНИ**

**Москва
ЭЛЛИС ЛАК
2009**

*Издание осуществлено при финансовой поддержке:
Главы Республики Северная Осетия–Алания
Таймураза Дзамбековича Мамсурова,
Художественного руководителя–директора,
главного дирижера Государственного
академического Мариинского театра
Валерия Абисаловича Гергиева*

Под общей редакцией *Т.Н. Красавченко*

Статья о творчестве Г. Газданова *Т.Н. Красавченко*

Составление, подготовка текста
Л. Диенеша (США), Т.Н. Красавченко, С.С. Никоненко

Комментарии
*Л. Диенеша, Т.Н. Красавченко,
С.С. Никоненко, Л.В. Сыроватко*

Художник *В.М. Мельников*

Редакционно-издательский совет:
А.М. Смирнова
(председатель, директор издательства)

Т.Н. Красавченко

С.С. Никоненко

Т.А. Горькова

В.М. Мельников

С.В. Федотов

ISBN 978-5-902152-71-2
ISBN 978-5-902152-77-4 (Т. 4)

- © «Эллис Лак 2000», 2009
- © Л. Диенеш, Т.Н. Красавченко, С.С. Никоненко.
Сост., подгот. текста, 2009
- © Т.Н. Красавченко. Статья о творчестве
Г. Газданова, 2009
- © Колл. авт. Комментарии, 2009

О РЕМИЗОВЕ

Есть писатели, произведения которых никогда не доходят до так называемых широких читательских кругов, несмотря на то, что они этого, казалось бы, заслуживают и по таланту, и по оригинальности. К числу именно таких писателей относился один из самых удивительных русских прозаиков последних десятилетий Алексей Михайлович Ремизов.

Он прожил много лет — до конца своих дней в Париже, и все, кто имел какое-либо отношение к литературе, знали его хорошо. Работал он неутомимо: много книг его было напечатано, но еще больше не напечатано. Характерно, что ни рассказов, ни романов в собственном смысле слова он не писал, вернее, его короткие произведения нельзя было назвать рассказами, а длинные — романами. Писал он тоже не так, как другие: построение его фраз отличалось от обычного литературного языка. Нельзя было себе представить Ремизова, который написал бы, скажем: «Иван Петрович вышел из дому и направился к Акулине Васильевне, которая его пригласила на ужин». Ремизов написал бы примерно так:

«А там, глядишь, сумерки, вроде как сверху небо темнеет, а Ивану Петровичу и горя мало; улица за улицей, на углу мордастая прачка, — ничего, пронесло, — и вдруг — подворотня и Церковь будто недалеко. Ивану Петровичу сперва и невдомек, только потом спохватился: у Акулины Васильевны-то нынче на столе чего только может быть и нету. И вспомнил Иван Петрович — зван-то он ведь был, да еще и особенно — приглашаю вас — уж она и скажет — приглашаю. Ничего не поделаешь, как ни крути, а не отступиться».

Ремизов почему-то считал, что это и есть настоящий русский язык, которым, однако, русская литература, в

частности XIX века, не пользовалась. Больше всего Ремизов в истории русской литературы ценил протопопа Аввакума, который, по его мнению, действительно писал так, как следовало. Ремизов считал себя его продолжателем, что, кстати говоря, не соответствовало истине: между тем, как писал протопоп Аввакум, и стилем Ремизова не было ничего общего. Но стихию русского языка Ремизов знал прекрасно и, в частности, был лучшим чтецом, которого мне приходилось слышать. Никто так не читал Гоголя, Лескова или Тургенева, как Ремизов. Прекрасно читал Бунин, очень хорошо читал Набоков, но с Ремизовым никого сравнить было нельзя. Даже рассказ Тургенева «Живые мощи», в котором чувствуется какая-то неуловимая фальшь, — Тургеневу, вообще говоря, мало свойственная, кроме как в его стихотворениях в прозе, — Ремизов читал так, что эта фальшь исчезала. Он был знатоком русской литературы, но его всегда тянуло к русскому языку XVI–XVII столетий. Логическое построение фраз, как то: последовательность прилагательных и существительных, предложения, в которых подлежащее и сказуемое стояли на своих местах, — все это казалось ему чем-то искусственным. В одном из своих разговоров он как-то сказал:

— Это все Аристотель виноват. Вольно же было ему логику изобретать. А логики в человеческой жизни чаще всего нет, и в речи тоже. Вот почитайте некоторые речи депутатов парламента. Там все есть: и высокопарность, и подлый стиль, и вранье, и густейшая глупость — словом, на все вкусы. Но логики нет.

Я помню, как Ремизов рассказывал о своих занятиях философией:

— Был я, знаете, в последнем классе среднего учебного заведения, и попала мне книга Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Дай, думаю, прочту. Взятся читать — ничего не понимаю. Как будто по-русски написано, вернее переведено, а не понять, в чем дело. Так и бросил книгу. Прошло года два, я, уже студентом, опять взял то же самое: не понять. В чем тут, думаю, дело? Еще год прошел. Я снова за Шопенгауэра, но только на этот раз начал с предисловия. А в предисловии Шопенгауэр

говорит, — я, говорит, полагаю, что мой читатель хорошо знаком с трудами Иммануила Канта и уж, конечно, прекрасно знает эллинскую философию. Эллинскую философию и Канта! Батюшки мои! Сел я тогда за греков, начиная от Гераклита. Ничего, одолел. Потом дальше, дошел до Канта, прочел. Затем опять взял читать «Мир как воля и представление» — и ахнул: ну совершенно все как на ладони.

Ремизов рассказывал:

— Вот, как говорится: чужая душа потемки. Приходил ко мне такой солидный, знаете, мужчина, посмотришь на него, ну просто европеец, по фамилии Кац. Хотел издавать сочинения Розанова, Василия Васильевича. И все меня расспрашивал, — сколько будет набор стоить, И почему с листа и каким шрифтом печатать, ну, буквально все. Все расспросил, выяснил и прямо лицом просветлел. И ушел.

Последовала долгая пауза. Затем Ремизов сказал:

— А потом пансион открыл.

В числе постоянных гостей Ремизова были писатель Унковский и поэт Кобяков. Оба они были людьми чрезвычайно наивными — чтобы не сказать больше, — и Ремизов проделывал с ними довольно жестокие шутки. Унковский был по образованию врачом и некоторое время провел в Африке, где лечил негров. У Ремизова он так и назывался — африканский доктор. И вот в отдел хроники русской газеты, выходящей в Париже, «Последние новости» Ремизов послал такую заметку, которая была напечатана:

«В ближайшем будущем в Париже, на средства известного благотворителя и миллионера Ротшильда, открывается новая водолечебница. Заведовать больницей приглашен доктор Унковский, а административная часть поручается Д. Кобякову».

Это звучало настолько наивно, что никто этого все-таки не мог, конечно, принять. Никто — кроме Унковского и Кобякова, которые отправились в редакцию газеты, чтобы узнать, какое жалованье им назначено.

Кобяков как-то пришел к Ремизову и сказал, что намерен выпустить книгу стихов.

— Под каким заглавием? — спросил Ремизов.

Не помню, какое это было заглавие, что-то вроде «Ожерелья».

— Что вы, что вы? — сказал Ремизов. — Побойтесь вы Бога. Теперь так книги больше никто не называет.

— А как же назвать?

— А назовите — это теперь так полагается, — именем какого-нибудь политического деятеля: например, Вишняк.

— А если он обидится?

— Это надо с умом делать, — сказал Ремизов. — Не Вишняк, а Вешняк, будто бы производное от слова «весна».

И Кобяков назвал свою книгу стихов «Вешняк».

Ремизов был учредителем общества со странным названием: ОБЕЗВОЛПАЛ. Это значило Обезьянья вольная палата, и в нее он записывал всех писателей и поэтов, которых знал, и выдавал им особые удостоверения. В числе этих людей были, насколько я помню, Андрей Белый, Максим Горький и другие известные люди.

Кабинет Ремизова был увешан чертиками, обезьянами, маленькими чудовищами, у каждого из которых было свое имя. Из дому Ремизов почти не выходил, уличного движения боялся и соприкосновения с внешним миром избегал. В том, что он писал, нередко фигурировала нечистая сила, бесноватые, ведьмы, лешие — все это было, в сущности, постоянной забавой Ремизова, странной игрой, в которой он прожил всю жизнь.

Эту игру он создавал сам. Он никогда не воспринимал действительность такой, какой она была, он ее изменял и переделывал так, что самые простые вещи приобретали у него фантастический характер.

Он должен был переезжать в Париже с одной квартиры на другую. Сам он этого не мог бы сделать, это было слишком трудно и сложно, всем занимались его друзья — у него всегда были друзья, которые о нем заботились. И вот он представил себе, что этот переезд сопряжен с огромными трудностями, которых не было, — и что ему надо преодолеть множество препятствий, которых тоже не было, — и прежде всего непримиримую враждебность консьержки, совершенно воображаемую. В его представлении между ним и консьержкой шла неравная борьба. Консьержка

была чуть ли не олицетворением государственной власти, и эта власть пользовалась своей силой, чтобы угнетать его, русского писателя, затерянного в чужой стране. Он боялся проходить мимо помещения, в котором она жила.

— Знаете, — говорил он, — иду по лестнице, и такое ощущение, будто она меня за ноги хватает. И вот, можете себе представить, пришло спасение, неожиданно-негаданно. Посетил меня Марк Александрович Алданов. Он над всеми консьержками вроде как генерал. И он ведь на ихнем языке все как есть до конца знает, до последнего вздоха. Консьержки его, как огня, боятся, ну прямо перед ним трепещут. И когда он пришел, я думаю, — ну, слава Богу. Теперь я спасен. Дай ему Бог здоровья, Марку Александровичу, в его генеральском звании.

Все это, конечно, было вымыслом. Никакая консьержка Ремизова не преследовала и не могла преследовать. Он ее, конечно, не боялся. Это было то же самое, что производство Алданова в генералы над консьержками. Но если бы все это было представлено так, как это было в действительности — без этой воображаемой борьбы и без чудесного визита генерала Алданова, то что осталось бы от ремизовской фантастики?

Он делал подарки — давал, например, какому-нибудь из гостей куриное перо и говорил при этом:

— Вот, Сидор Васильевич, это особенное перо, из Алжира, от одного из лучших алжирских петухов. Прямо из Африки, мне недавно только привезли. Петух этот принадлежал, между прочим, чрезвычайно высокопоставленному лицу.

Ремизов был маленький сгорбленный худой человек, с темным цветом лица, в очках с толстыми, многослойными стеклами. Его жена Серафима Павловна, была высокая, очень полная женщина, белая и румяная. Называли они друг друга на «вы» и по имени-отчеству. Как-то к Ремизову пришел молодой писатель, кавказец по происхождению, но выросший и воспитавшийся в России и которого родной язык был русский. Ремизов с ним разговаривал, сбоку и с опаской на него поглядывая, и время от времени делал успокоительные жесты Серафиме Павловне.

Гость не мог всего этого не заметить и спросил Ремизова, в чем дело.

– Ну, уж я вам лучше начистоту... все скажу, легче на сердце станет. Вы на нас не сердитесь. Понимаете, Серафима Павловна... ее ведь тоже понять нужно. Она на ваш счет, знаете, сомневается и робеет – боится спросить, – вдруг, не дай Бог, чего-либо выяснится.

– В чем сомневается Серафима Павловна?

– Я вам, так и быть, скажу. Серафима Павловна... так будет лучше, сразу все узнаем... Вот в чем дело... сказать-то нелегко, не всякий решится. Ну, да будь что будет. Серафима Павловна хотела бы знать: вы крещеный или нет?

– Помилуйте, Алексей Михайлович, крещен в городе Петербурге.

– Ну, вот видите, ну, слава Богу. Я-то, признаться, так и думал, только не смел сказать. Серафима Павловна, я же вам говорил и раньше, – ну, какой он мусульманин? Он православный, по глазам видно. У мусульман глаз другой, вроде темный, а тут все ясно. Ну, спасибо, дорогой, вот уж утешили. И Серафима Павловна вздохнет свободно, я знаю, как она теперь счастлива.

Все это тоже была ремизовская игра. Ремизов прекрасно знал, что его гость православный, знал его несложную биографию, и никаких сомнений ни у него, ни у Серафимы Павловны никогда не было.

От литературных суждений о своих современниках Ремизов обычно воздерживался – его вообще тянуло в далекую старину, его любимые XVI и XVII столетия. К политике он был совершенно равнодушен, и то, что, например, в эмиграции определялось выражением «трагедия России», то, на что так бурно реагировал Бунин и о чем с беспощадным осуждением говорил Алданов, это его, в сущности, мало трогало. Две вечные темы литературы – «любовь и смерть» в его собственном творчестве роли не играли. Жизнь, та, которую он видел вокруг себя, его интересовала постольку, поскольку из этого можно было сделать часть его собственного преображения, – как говорили его поклонники, – или искажения, – как говорили люди,

относившиеся к нему критически. Эта игра некоторых забавляла, некоторых раздражала, точно так же, как тот причудливый язык, на котором он писал. Если перевести то, что он пишет, на обыкновенный русский язык, сказал о нем один из его современников, то от его книг почти ничего не останется. Но особенность Ремизова именно в том и заключалась что его творчество было непереводаемо. Оно было таким же странным и таким же неправдоподобным, как все остальное в его жизни, и в простом, нормальном мире ему не было места, он органически туда не входил. Это создало невольное отчуждение и непонятность — в которых он прожил свою долгую жизнь и с которыми он ужел из нее.